

Галина Щербакова

Вам и не снилось

I

Таня, Татьяна Николаевна Кольцова, уже восемь лет не была в театре. Билеты, которые возникали то стихийно, то планово, она сразу же или в последнюю минуту отдавала. И успокаивалась.

А тут не спасешься — ее бывший театр пригласили на гастроли в Москву. Это — ого-го! — какое событие! Она знала: там, в театре, уже готовят представление к наградам и званиям, сшиты новые костюмы, актрисы срочно красят волосы в модный цвет.

Возбужденные, все в ожидании необыкновенных перемен, с блестящими глазами, бывшие подруги нашли ее в Москве и категорически заявили: не придет на премьеру — вовек не простят...

— У нас такая «Вестсайдская», что вам тут не снилось...

«Не спасись», — подумала Татьяна Николаевна.

Целый день она ходила сама не своя. Идти в театр, где началась и кончилась твоя карьера, идти,

чтобы переживать именно это, независимо от того, что будет происходить на сцене, а потом говорить какие-то полагающиеся слова, и вместе сплетничать после спектакля, и отвечать на тысячу «почему»...

«Ведь школа нынче — ужас! У детей ничего святого! Неужели не было более подходящего варианта? Это что, жертва?»

Таня заранее знала все эти еще не произнесенные слова. Но дело было даже не в них. Ей действительно не хотелось идти в театр. Не хотелось смотреть эту потрясающую «Вестсайдскую», стоившую Таниной подруге Элле переломанного ребра: они там по замыслу режиссера все время откуда-то прыгали.

— Ничего, срослось, как на собаке, — сказала Элла. — Но я теперь не прыгаю. Я раскачиваюсь на канате.

И говорилось это так вдохновенно, и было столько веры в этот канат, и прыжки, и в «гени-аль-ного!!» режиссера, что Таня подумала: с тех пор как она стала учительницей, такая самозабвенная детская вера ее уже не посещает. Умирая, мама ей говорила: «Мир иллюзий тебя отторг. На мой взгляд, старой рационалистки, это не так уж плохо... Живи в жизни... А школа — это ее зерно. Всегда, всегда надежда, что вырастет что-то стоящее... Не страдай о театре. Ты бы все равно не смогла всю жизнь говорить чужие

слова...»

Мама умирала два месяца, и таких разговоров между натисками боли было у них немало. И мама все их отдавала Тане. Ломились к ней ее коллеги по научной работе, ее аспиранты, соседи — не принимала. Объясняла Тане:

— Я тебя так мало видела. Это у меня последний шанс. Мое счастье было в работе. Это не фраза. Это на самом деле. Что такое модные тряпки, я не знаю. Я не знаю, что такое материнство, — с трех месяцев тебя растило государство. Я не путешествовала, не бывала на курортах, не обставляла квартир гарнитурами, я ни разу не была у косметички. Мне даже любопытно — это не больно? Все беременности были некстати — не сочетались с моим делом. Я даже не плакала, как полагается бабе, жене, когда разбился твой папа. У меня на носу тогда была защита докторской. Поверишь, в этом была какая-то чудовищно уродливая гордость: у меня несчастье, а я не сгибаюсь, я стою, я даже иду, я даже с блеском защищаюсь...

А Таня видела: она и сейчас гордится этим. В маме это было главное — преодоление всего, что мешало ей работать и ощущать себя большим, значительным человеком. И как ни тяжело было Тане, как ни любила она маму в эти последние дни, мысль, что и теперь своими

иронично-афористичными речами мама прежде всего сохраняет себя, а уж потом хочет что-то разъяснить, приходила не раз. И тогда она мысленно спрашивала: может, именно в маме умерла артистка? А она ее так жалко, бездарно подвела, не сумела сделать то, что предназначалось ей? И утешает мама сейчас себя, а не ее, неудачницу? Иначе зачем так настойчиво? С такой страстью?

— ...Какая ты Нина Заречная? У тебя же аналитический ум и ни грамма рефлексий. Ты антиактриса по сути.

Мама утешала и утешалась. Ведь тогда прошел всего год, как Таня ушла из театра. И последние слова мамы были: «Живи в жизни».

И все было нормально эти семь лет, пока не свалился на голову театр из прошлого со своей «Вестсайдской историей». И мама вспомнилась в связи с ним. Она же: «Не ходи в театр, плюнь! Пока не освободишься от комплекса. Читай! Это всегда наверняка интересней — первоисточник, не искаженный чужим глупым голосом».

Родилась спасительная мысль — раз уж идти, то она возьмет в театр свой класс. Правда, она его еще не знает, ей дают новый, девятый. Но уже конец августа, списки утрясены, через ребят, которых она учила в восьмом, можно будет собрать человек десять. Убьет сразу двух зайцев.

Посмотрит «на материал», с которым ей придется работать, и спасется от последующего после спектакля банкета, где надо будет всех безудержно хвалить, сулить звания и одновременно убеждать под сочувствующие и неверящие взгляды, что она вполне довольна работой в школе. Она скажет: «Я здесь с классом. Я с вами потом».

Таня пригласила в школу Сашку Рамазанова. Он пришел в грязных джинсах и рваной полосатой тенниске.

— Я думал, надо что-нибудь покрасить или подвигать, — сказал он. Театральная идея его не увлекла и насмешила. — Ну, Татьяна Николаевна! — картинно воскликнул он. — Пригласили бы на Таганку или в «Современник»... А какой нормальный человек пойдет смотреть приезжающую на показ периферию... Этот номер у вас не пройдет. Гарантирую...

— Не будь снобом, — сказала Таня. — У них молодой гениальный режиссер, и весь спектакль — сплошная новация. К тому же там хорошая музыка.

— Разве что... Ладно... Попробую. Может, от скуки народ и соберется.

— Напрягись, — сказала Таня. — Мне очень хочется пойти с вами.

Сашка посмотрел на нее пристально. Поведение учительницы было, на его взгляд, лишено логики: тащиться в театр, да еще в

неокончившиеся каникулы, с классом? Больше не с кем? Но Татьяна Николаевна, хоть ей уже и за тридцать, женщина вполне. Сашка охотно пошел бы с ней сам, единолично. Он высокий, здоровый уже мужик, детвора во дворе зовет его «дяденькой». Так что вместе они бы гляделись... Но она, милая их Танечка, тащит с собой класс, что ненормально и противоестественно, хоть сдохни. Но просьба есть просьба, поэтому Сашка обещал обзвонить и обежать народ в ближайшем округе и человек десять подбить «на эксперимент».

— Но если будет дрянь, — сказал Сашка, — я не отвечаю. И буду просить у вас защиты от гнева народов. Побьют ведь!

Спектакль казался никаким. Что называется, не в коня корм. Может, новый режиссер и был талантливым, что-то он напридумывал, но актеры!.. Ни одного, ну просто ни одного нефальшивого слова. И от этого придуманная форма торчала обнаженным каркасом, то ли оставшимся от пожара, то ли брошенным строителями по причине нехватки материалов.

Танины ученики умирали со смеху. Их надо было просто убирать из зала за нетактичное поведение.

— А я предупреждал, — многозначительно сказал Сашка. — Я верил и знал: будет именно так.

Вообще он держался не как ученик, а как Танин приятель. Таня подумала: пожалуйста, проблема. Надо сразу ставить его на место. Хороший ведь мальчишечка, просто от роста дуреет... И посмотрела на его дружка Романа Лавочкина — еще выше. Господи, куда их тянет! Но с Романом ничего подобного не будет, он мальчик книжный. Вот и сейчас он:

— Татьяна Николаевна! А как проверить — не был ли Шекспир трепачом? Я к чему... Современное искусство о любви — такая брехня, что, если представить, что оно останется жить на пятьсот лет...

— Не останется, — сказал Сашка. — Не переживай.

— Теперь любовь только пополам с лесоповалом, выполнением норм, общественной работой...

— Сейчас ты смотрел любовь пополам с расизмом, — сказал Сашка. — Если тебя смущают только примеси в этом тонком деле, то их было навалом и у древнего человека. Чистой, отделенной от мира любви нет и не может быть.

— А я не люблю винегретов, — ответил Роман. — Вот почему меня волнует правда о Шекспире.

— Без примесей только секс, — с вызовом выложил Сашка и посмотрел на Таню: «Как вам

моя смелость? Мой образ мыслей? Широта воззрения?»

Девчонки гневно, но заинтересованно завизжали:

— Скажите ему, Татьяна Николаевна! Скажите!

— Я согласна с Сашей, — сказала она. — Любовь всегда бывает в миру и среди людей. Это жизнь в жизни («Мама!» — печально вздрогнуло сердце).

— Понял? — Сашка хлопнул Романа по спине. — И будут тебе из-за любви вредные примеси в образе двоек, скандалов дома, а потом — что совершенно естественно — будет лесоповал...

— Видел я такую любовь в гробу и белых тапочках, — ответил Роман. — Любовь сама по себе целый мир. Должна быть такой, во всяком случае.

Расходились по-доброму. Уже дома Таня подумала: интересный парень Роман. А какие у нее девчонки? Она толком их и не увидела. Правда, против секса они завизжали дружно, что ни о чем еще не говорит. Это вполне может оказаться жеманством, а не целомудрием, лицемерием, а не добропорядочностью.

...А потом, в бессонницу, снова пришла к Тане мама. Она села в ногах в своем старом-престаром махровом халате и сказала своим

сломленным болезнью голосом:

«...Я все думаю о любви, Таня! Это невероятно, сколько я о ней думаю. Мы поженились с папкой перед самой войной, и у нас была возможность поехать на пару недель к морю. Мы отказались. Папа из-за каких-то цеховых дел, я из-за ремонта в институте. Без меня, видите ли, не могли покрасить наличники. И сейчас я думаю о том, как я не ходила с папой босиком по пляжному песку, как он не растирал мне спину маслом для загара. Понятия не имею, было ли тогда такое? Как мы не целовались в море, в брызгах... Сплошное НЕ... Недавно у одной писательницы прочла абзац о поцелуях. Ей не нравится, как теперь целуются: откровенно, бесстыдно... А мне нравится... Я бы так хотела... Я буду думать о любви до самой смерти... Ах, черт, как не хочется умирать! Что за судьба у нас с отцом — он в тридцать семь, я в сорок семь... Какой-то злодей нас безбожно обокрал... Вся надежда на тебя, Танюша. Чтоб ты жила взахлеб за нас троих...»

Мама была всю жизнь поглощена делами института, делами лаборатории, и такая вот тоскующая о пляжном песке женщина становилась для Тани непонятной и даже чужой. Только на похоронах, среди венков и соболезнований, среди невероятно большой толпы вокруг такой маленькой, почти невесомой женщины, Таня вновь

обрела ту маму, которую всегда знала, любила и побаивалась.

Почему же так получилось, что теперь — и чем дальше, тем чаще — в ногах ее садилась женщина в махровом халате, тоскующая о любви?

Таня знала ответ: мать приходит, потому что дочь не оправдала ее надежд. Она не живет захлеб, за троих. В сущности, у нее, как и у мамы, в жизни есть только одно — работа.

* * *

Первое сентября полагается считать праздником. За годы работы в школе Татьяна Николаевна научилась понимать и ценить многое в школе, но первосентябрьское ликование ее всегда выводило из себя. Цветы, фотоаппараты, шефы с завода с тоскующими глазами, представители вышестоящих организаций, прячущие за приветливостью тайный инспекторский взор, суголока, нервы, а в результате обязательно пустые уроки, потому что после всего на «отдать» и «получить» уже просто ни у кого не хватает сил.

И в этот раз она до последней минуты не выходила на школьный двор, наблюдала суету из окна. Увидела Сашку, без единой книжки, но с газетой. Он тряс ею над головой и собирал вокруг себя народ. «А! — подумала Таня. — У него

рецензия на «Вестсайдскую историю»». Она ее прочла вчера.

В рецензии было все: «нервная ткань формы на аспидно-черном фоне...», «пластичное страдание» и «бьющая наотмашь символика». Были эпитеты — «незаурядный», «мыслящий», «ярко индивидуальный» и прочее. И сейчас, глядя, как Сашка читает ребятам рецензию «Гимн любви», она вдруг поняла: первое сентября она не воспринимает именно потому, что оно ей напоминает театр, день «сдачи спектакля». Там тоже ходят переполненные ответственностью инспектора от культуры и смущенные непривычностью положения шефы. Таня так обрадовалась, разобравшись наконец в своей первосентябрьской идиосинкразии, что тут же пошла во двор, туда, где громко читался «Гимн любви».

Те, кто ходил с ней в театр, бросились навстречу. Остальные смотрели со стороны. Таня почувствовала легкое недоумение от образовавшегося неравенства в отношениях. «Это ничего, — подумала она. — Утрясем».

— Оказывается, — сказал Сашка, — мы, Татьяна Николаевна, эстетически не развиты. Спектакль-то — штука! А мы смеялись, как лошади...

— Классический пример выдавания

желаемого за действительное, — объяснял Роман. — Рецензент не дурак. Он написал о том, что могло бы быть, если бы из этого что-то вышло...

— Умники! — фыркнула Алена Старцева. Она хотела привлечь к себе внимание, потому что подстриглась и никто еще ничего не сказал по этому поводу. Алену Таня знала по восьмому классу.

— Тебе идет стрижка, — сказала она ей. И Алена вся засветилась.

К этой девочке было сложное отношение, но Таня с ней ладила. Сейчас ее волновало другое: новенькие. Те, что пришли из новостроек. Восемь лет в одной школе, девятый в другой. Это всегда сложно. И сейчас они в стороне. В театр не ходили, рецензию не читали, реплики Сашки и Романа до них не доходят... Сколько их таких? По списку десять. Десять и есть. А за их спинами, наверное, родители. Смотрят настороженно, готовы защищать своих хоть и больших, но все-таки детей. Вдруг не так встретят!

И тут истошно, театрально зазвенел звонок. Пока шли приветствия через мегафон, Таня разглядывала своих ребят. Ей полагалось уйти туда, на школьное крыльцо, и взирать на все с полагающейся высоты, но она осталась у ограды, ближе к новеньким, на лицах у которых от первых

же речей появилось выражение умиротворенной скуки: в новой школе начинается, как в старой. Тоска...

Таня уже привыкла к тому, что все дети теперь очень большие. Но этот ее класс был прямо-таки великанский. Юбочки из модной замши — директриса добилась для старшеклассников «вольной одежды», пока не придумают что-нибудь посовременней, — так вот юбочки из модной замши трещали на туго обтянутых бедрах девчонок; пятки стыдливо свисали над тридцать девятым размером босоножек, колени, грудь, губы — все было откровенно и напоказ. И парни тоже ничего себе стропины. Все по метр восемьдесят-девяносто, но худы-ы-е! Ни одного мальчишечьего румянца на класс, все как из голодного края. Таня однажды поинтересовалась у врача — отчего, мол? Та махнула рукой: «Все в порядке. Худые? Дольше будут жить. Бледные? Это пламенный привет от мерцающего телевизора. Девочки другие? Они уже сформировались. Ясно? И вообще: чего вы волнуетесь? Все равно в основе своей это поколение гипертоников, язвенников, сердечников. Других теперь не рожают. Не умеют. Потому что кто рожает? Гипертоники, язвенники, сердечники...» Их школьный врач — большая оптимистка. После разговора с ней ощущаешь радость обладания двумя (а не одной) ногами,

умением откусывать и пережевывать, испытываешь благодарность к грудной клетке, что она крепкая, костяная.

В микрофон громко откашлялся шеф.

— Давай, пролетариат, давай, произнеси слово, — сказал Сашка.

Девятый захихикал. Таня подумала: директриса потом ей скажет: «Ваши, деточка, вели себя хуже всех, потому что — как они говорят? — им хотелось выпендриваться перед вами. Зря вы с ними стояли».

Она подошла к Сашке и встала рядом. Сашка приставил к своему рту кулак и потыкал им в зубы. Делай после этого замечания. А Роман вообще сидел на камне и перечитывал рецензию. С высоты своего роста заглядывала в газету Алена — от Романа она не отходила, делала вид, будто ей тоже интересно, что там написано. Типичная здоровячка, она была чем-то похожа на актрису Нонну Мордюкову периода «Молодой гвардии» и страшно этим гордилась.

Потом, вспоминая этот первый день, Таня была убеждена: Юльки среди новеньких не было. Ведь она даже их считала, по списку все сходилось, а Юльку она не разглядела.

Митинг закончился, и все пошли по классам. Таня довела своих до двери, пожелала ни пуха ни пера, услышала от Сашки «к черту» и пошла на

уроки. В девятом в этот день у нее часов не было. И слава богу, пустые, ох, пустые эти уроки первого сентября. А день выматывающий...

Таня медленно брела домой и думала: вот и еще один год начался. Надо будет знакомиться с родителями, надо будет забрать из химчистки свой темно-синий костюм, скоро станет прохладно, и он ее снова надолго выручит. Надо будет поговорить с Эллой. Сказать: пусть не очень страдает, если уедет режиссер. Ребра будут целее. И вообще пусть выходит замуж за своего автомеханика. Не принцесса! Правда, подруга спросит: «А сама? Живешь в Москве в изолированной двухкомнатной квартире, да только свистни...» Таня знала, что все в конце концов кончится разговором о квартире и замужестве, поэтому-то и избегала подругу. Элла напоминала маму. Та тоже, за два года до смерти, получив наконец изолированную квартиру, все не могла прийти в себя от свалившейся на нее роскоши. Маму потрясали квадратные метры и возможность закрыть дверь в своей комнате; санузел, куда можно было войти в любой момент и где пахло дезодорантом.

Дома Таня расставила цветы, с которыми вернулась из школы, хотела немедленно сесть за письменный стол, но силой увела себя в кухню. Это же типичная патология: после работы сразу за работу, тем более что завтрашний урок у нее в

девятом — вводный. Она любит его, она на нем — нелепое сравнение! — как торговец-зазывала, раскрывает перед человеком «товар» — литература XIX века — ах, чего тут только нет, и все бесценно, никаких денег не хватит, но она все отдаст за малую толику, за каплю интереса. «Ничего себе малая толика, — подумала Таня, бесцельно трогая маленькие беленькие кастрюльки на полке. — Поесть, что ли?» Торговец-зазывала звенел в ней, вертел ею, как хотел, и она плюнула на беленькие кастрюльки. Таня вернулась к письменному столу, и мама укоризненно посмотрела на нее с портрета.

Но зря смеялся над ней торговец-зазывала, Таня вдруг почувствовала, что «торговых рядов» литературы она завтра строить не будет. Она расскажет им о другом. О том, что они целый год будут говорить о любви — такой у них материал.

Потом, через время, она вспомнит, как ушла от маленьких кастрюлек к столу, как, перегоняя друг друга, теснясь, подкатывали к горлу еще не высказанные, просящиеся на волю слова. Как подчинилась она внутренней силе, заставившей ее поломать апробированный, симпатичный план урока, который столько лет ее не подводил. И Таня потом скажет: «Это я во всем виновата. Я их так настроила». А пока она делала торопливые заметки, радуясь ощущению откровения: как это ей, тупице, раньше не пришло в голову, что все ее уроки о

любви? Она им покажет «примеси в виде лесоповала». Ах, боже мой! Как им много надо объяснить...

Она работала до ночи, а когда легла, на краешек кровати села мама:

«...Я бы не взялась на твоём месте учить людей любви... Что ты о ней знаешь? Все книжное, книжное... Ты наркоманка. Фу!» Мама зло рассмеялась, но ушла быстро. И это было хорошо, правильно.

* * *

— Ну и Танечка! — сказал Сашка, когда они с Романом возвращались домой. — Будем изучать любовь.

— Она смешная, — ответил Роман. — Ей кажется: она придумала хитрый ход. А ведь ежу ясно, что она — Иван Сусанин и заманивает нас в дебри, чтобы спасти от секса. Между прочим, это ты ее вынудил своей солдатской прямоотой.

— Мы уже не дети, — басом сказал Сашка, — чтобы нас водить за нос.

— Ты все-таки балда, — беззлобно сказал Роман. — При чем тут «за нос»? Я сказал — в дебри. В чащобу духа. А секс, он где? Он на опушке.

— Ну, знаешь, — ответил Сашка, — если он

на опушке, то чего я пойду в дебри? Я что — дурак?

— Не прикидывайся скотом, — сказал Роман. — Поэтому и пойдешь за Танечкой, потому что она Сусанин. Это как пить дать... И еще она девушка обаятельная, за ней приятно идти...

— Смысла не вижу...

— В чем?

— В дебрях.

— Это, солдатик, называется нравственным воспитанием, — засмеялся Роман. — Запомни.

— Как тебе новенькие? — перевел на другую тему Сашка. — По-моему, серость...

— Пусть живут, — великодушно разрешил Роман. — Мне вообще кажется, что сейчас все люди на одно лицо... Знаешь, как заметил? Перестал различать дикторш по телевидению. Все с глазками, все с носиками, все с волосиками, и — никакой разницы: кто есть кто. А потом огляделся — батюшки, все люди не просто братья, а однойцовые близнецы.

Сашка подозрительно посмотрел на Романа. На него всегда надо так смотреть. Он «прикольный» парень. Такое заявление об одинаковости человечества вполне может быть задуманной провокацией: вызвать Сашку на разговор, в котором он ни бэ, ни мэ, а Роман всю проблемку обсосал и обдумал до зернышка.

— Есть индивидуальности, — пробурчал Сашка.

— Их все меньше, — сказал Роман. — Очень долго не было ситуации, при которой личность проявляет свой максимум. Война там, голод, оледенения... Все живут одинаково, и все становятся похожими друг на друга...

— Ну ты даешь! — разозлился Сашка. — Все живут одинаково? Где ты это видел? Ты что — дурак? У одних машины, у других — от получки до получки, одни ничем не гнушаются, а другие всю жизнь в трамвае стоят, потому что стесняются сидеть. Одни верующие во что-то до тошноты, другие ни в бога, ни в черта...

Роман скривился.

— Нельзя же понимать все буквально... Во всеобщей одинаковости тоже градация от нуля до ста, к примеру. Все, что ты говоришь, сюда укладывается. Просто, чтобы стать личностью, надо выйти за эту градацию.

— И что сделать?

— В том-то и дело, что, когда ищешь, что сделать, это тоже поиски внутри градации. Что может придумать ординарный человек?

— Ну знаешь, войны я не хочу, — сказал Сашка.

— А я хочу? Но машина даже в экспортном исполнении — тоже пошлость.

— Так полети в космос!

— Мне это неинтересно, — с вызовом сказал Роман. — Понимаешь, меня всерьез гложет...

Сашка пожал плечами. Конечно, он мог сказать, что когда у человека нормальный, непьющий отец и заботливая мать, когда у него никаких проблем с братьями и сестрами, когда рубль в кармане всегда, а иногда и трояк, то, конечно, пристало время подумать об оледенении. Но он этого не сказал, потому что получалось, будто он цитирует собственную мать, у которой было хобби: коллекционировать страшные истории. Мать Сашки работала секретарем в суде, и информация у нее была очень однообразная. Если учесть, что муж ее, отец Сашки, запивал, что сестренка Сашки имела врожденный порок сердца, а бабушка в свои шестьдесят погуливала, как молодая, то прямо можно сказать: проблема рождения индивидуальности в семье остро не стояла. Мать так стремилась, чтоб все у них было, *как у всех*, как у людей. Вот, оказывается, в чем был гвоздь. А индивидуальность — это с жиру. Это чтоб себя показать: «Вот у нас проходило дело...»

И Сашка молчал, хотя что-то в словах Романа вызывало его протест. Может, просто умничанье?

— Смотри, — сказал он. — Новенькая.

Им наперерез прошла Юлька.

— Я ее где-то видел, — Роман проводил

глазами девочку. — Или это опять путаница с лицами?

— Ты ее видел сегодня в школе, — ответил Сашка.

— Нет, не в школе, — твердо сказал Роман. — В школе я ее не заметил.

* * *

В первый же день, когда они переехали в новый дом, Юлька опустила перпендикуляр с балкона шестнадцатого этажа вниз прямо на оставшийся здесь от других времен и народов куст сирени, потом провела мысленную прямую к школьному подъезду, соединила школьный подъезд с окном и получила ничего себе, симпатичный прямоугольный треугольник. Вот бы съезжать по его гипотенузе! Мгновение — и ты в школе. Но так как пока это было невозможно, приходилось осваивать тот катет, что лежал на земле. Вот почему из школы она шла наперерез Роману и Сашке, пренебрегая проложенным бетонным маршрутом. Она шла насквозь, и сбить с пути ее могла только стихийная преграда в виде стоящего прямо на катете дома, или котлована, или уже совсем глупо возникших гаражей, пахнущих ржавым железом и бензином. Она шла и думала об уроке литературы. «Будем говорить о любви...»

Юлька за свои пятнадцать уже столько прочла о любви, что совсем недавно обнаружила: она с гораздо большим интересом читает фантастику, да и не какую-нибудь, а с сумасшедшинкой. Типа «Заповедника Гоблинов» или «Космического госпиталя», в общем, ту, в которой совсем или почти совсем нет примет нашего, человеческого времени. Отличный роман «Конец вечности» абсолютно испорчен любовью. Нет, Юлька не ханжа и не лицемерка, она лично знает — и не из книг, а из жизни, — что от любви можно помолодеть на десять лет и постареть на двадцать. Что в наше время для любящих столько же преград, как и раньше. Анна Каренина, Наташа Ростова, Лиза Калитина, мадам Бовари, мадам Реналь и Юлькина мама Людмила Сергеевна вполне могут стоять в одном ряду. И то, что мама, слава богу, при том жива и здорова, заслуга не времени, а маминого характера. В ней на троих мужества, стойкости и оптимизма. Ну, посудите сами...

...Людмила Сергеевна выходила замуж за молодого — ей тридцать, ему двадцать. Бабушка Эрна, обрусевшая немка, лежала в предынфарктном состоянии. Зброшенная Юлька вела сказочную для пятилетнего ребенка жизнь — рылась в раскрытых ящиках комода, рядилась в материны побрякушки, подкрашивала брови и губы — никто ни слова, ее не видели. Шоколад валялся во всех углах,

громадные запыленные плитищи, раз-два надкусанные. На тиражированные игрушки — собак, кукол, мишек — не смотрелось. Говоря научным языком, в Юлькиной жизни были инфляция и девальвация, но в целом — лучше не бывает, хотя лежащая на высоких подушках бабушка Эрна твердила ей с утра до вечера, какой она несчастный ребенок. Может, с тех пор в Юлькиных глазах навсегда застыло удивление пополам с насмешкой, рожденное от первого столкновения оценочного слова и реальной ситуации.

Период изобилия Юлькиной жизни кончился переездом на новую квартиру вместе с дядей Володей. В памяти цементно застыли красиво поднятые мамины руки и скороговоркой повторяемое: «От всех подальше... Как можно дальше... На край света...»

Край света выглядел соблазнительно. Пятиэтажный дом среди маленьких зеленых дворишков. Куры у подъезда, петух с осанкой бабушки Эрны, колонка у дома — пей, залейся, брызгайся прямо из крана, — собаки, кошки, бродящие естественно, без поводков и пригляду. Судя по всему этому, период изобилия Юлькиной жизни сразу перерастал в симпатичное приближение к природе.

Бабушка Эрна именно тогда сразу

превратилась в старуху Эрну. Юлька слышала, как говорили женщины на лавочке у подъезда: «Какая величественная старуха». А мама, наоборот, преобразилась в девочку в коротенькой юбочке, дырчатой блузке, и те же женщины удивленно спрашивали: «У вас такая большая дочь?» Юлька была осведомленным человеком. Она знала, что мама ее родила в двадцать пять лет, уже получив высшее образование. Но предметы Юлькиной пятилетней гордости менялись не по дням, а по часам. Теперь мама всем говорила, что да, конечно, дочь у нее большая, но она рано, слишком рано вышла замуж и сразу родила, прямо, можно сказать, в детстве. Потом все хорошо познакомились, и уже никто ни о чем не спрашивал. Старуха Эрна скрепя сердце наносила визиты, мама молодеда и молодеда, дядя Володя отпустил усы и бороду для солидности, и все шло прекрасно... И идет так же до сих пор. Маме сорок один, ей не дают больше двадцати пяти, обалдеть можно от той зарядки, что она делает каждое утро. Юлька ни разу не видела ободранного лака на материных ногтях. Она всегда как на свидании, а это, на взгляд Юльки, труднее, чем в отчаянии бухнуться на рельсы. Ведь мама — работающая женщина, и полы Юлька всего два года как моет... А то все она... мама. Вот что такое любовь... Конечно, их «русичка» говорила это все красиво (актриса бывшая, что ли?), но опять-таки

— что может знать о любви старая дева? Хотя, с другой стороны, Юлька знает, эта категория человечества претерпела существенные изменения в наше время. У мамы есть незамужняя подруга, мама ни за что не оставит дядю Володю с ней в комнате. Юлька чувствует: боится. Боится за дядю Володю, которого эта подруга может совратить. Их Танечка с виду не такая. Но тем хуже... Тем меньше, значит, она знает об изучаемом предмете...

...Катет уперся в каменные ступени. Пришла! В общем, конечно, выигрыш во времени незначительный плюс ободранные на пересеченной местности ноги, все вместе доказывает, что гипотенуза как дорога была бы лучше. Но... Между прочим, один из двух парней, которые встретились, ей почему-то знаком. Она его где-то видела...

Юлька поднялась на шестнадцатый этаж и еще раз обозрела окрестность. Красота! А она, дура, ревела, когда переезжали. Здесь же необыкновенно! По девственно-зеленому ковру двора гуляла абсолютно золотая колли со щенятами. Тяжелая кирпичная кладка школы — ее так хорошо видно отсюда — тоже отлично сочетается с зеленым. А в том, что жилые дома, колеблясь в вышине, все-таки тянутся вверх, а школа устойчиво, на века, распласталась внизу на земле, была даже некая символичность. И если период изобилия Юлькиной жизни был десять лет тому назад заменен периодом

близости к природе, то на смену ему пришел образ жизни, который мама восторженно определила: «Как в раю!» — а дядя Володя оценил по-мужски невыразительно: «Жить можно».

Но где же она видела того худого и длинного мальчика?

* * *

А Таня не находила себе места. Она считала, что завалила урок в девятом. Конечно, ничего не стоило завтра же вырулить на наезженную колею, но именно то, что этого так хотелось, останавливало. Нельзя поддаваться панике. Так не бывает, чтобы вчера истина виделась в одном, а завтра в другом. Мама в таких случаях говорила: «Закажи очки. У тебя что-то со зрением».

— Надо исходить из того, — сказала Таня громко, на всю квартиру, — что я единственный предметник, который касается души. Если не я, то кто же?

«Брось! Брось! Брось! — сказала мама. — Только не ты!»

— Лучшие педагоги не имели детей, — парировала Таня. — Это им помогало, а не мешало. Не было своего узкого, личностного опыта, который может пугать карты. Нужен взгляд широкий, освобожденный от родительского

эгоизма.

«Дура! — сказала мама. — Зачем я тебе оставила двухкомнатную квартиру?»

А тут как раз позвонила Элла. Она просто захлебывалась от счастья. Режиссера в Москву не взяли. Посмотрел «Вестсайдскую» человек, который ставит последнюю печать, и ему не понравилось.

— «Своих пижонов не знаем куда девать!» — так он сказал, — тараторила Элла. Но радость была от другого.

Режиссер был сегодня у нее (восторг!), у Эллы, сказал, что истинная дружба проверяется именно такими случаями. Так что они возвращаются вместе, будут ставить арбузовскую «Таню», совсем не так, как раньше. Она будет Таней. Но какой! Никакой любви! Просто ленивая девка уцепилась за перспективного инженера, а когда жизнь заставит ее самую зарабатывать на хлеб, она поймет, что без мужика на свете прожить можно. Даже лучше...

— Чушь! — сказала Таня. — Где вы такое увидели?

— В пьесе! В пьесе! — кричала Элла. — Все бабы нынче — мужики. И только тогда им на свете хорошо, покойно и уверенно, когда они мужики на сто процентов! Вот! Это будет бомба!

— На чем ты будешь раскачиваться? —

спросила Таня.

— Ни на чем! Играть станут цвета. Твоя тетка вначале будет вся розовая, как поросенок. Она будет нести собой розовую женскую беспомощность.

— А потом какого она будет цвета?

— Как вся наша жизнь, лапочка! Стальная! Понимаешь? С металлинкой! Которая в конце засеребрится.

«В чем она была права? — думала потом Таня. — Пьесу они изуродуют, это точно, но какое-то в этом есть зерно... в этом уродовании. Какое? Ах, вот в чем! Чистая, отдаленная от жизни любовь в наше время не выживает? У *только любви*, как у бабочки-поденки, век короткий. Ей нужны примеси... В виде лесоповала?»

Потом Таня скажет: «Этот идиот режиссер заставил меня следовать задуманному плану. Что мне стоило на следующем же уроке все переиграть?»

* * *

Ни Роман, ни Юлька так и не вспомнили, где они видели друг друга. А встреча была и, оставшись для них бесследной и незапомнившейся, в их семьях, для их родителей стала чем-то вроде взрыва в котельной, который внешних разрушений

вроде бы и не принес, но внутренние конструкции слегка покорежил.

Дело было вот в чем...

Мама Юльки когда-то давно, еще в школе, дружила с папой Романа. Но мало ли кто с кем дружил в школе — раздружились. Возник красивый мужчина, летчик, и увел маму Люсю от юного школьного воздыхателя. Тривиальнейшая история, разговора не стоит, если бы... Если бы папа Романа с последовательностью и ритмом биологических часов не возникал у ног Юлькиной мамы с переходящей всякие приличия тоской во взоре. Уже Юлька родилась, уже у него самого сын был, а все равно — придет, сопит и вздыхает. И случилось вот что... Людмила Сергеевна его возненавидела.

— Я сама себе казалась противной оттого, что когда-то с ним целовалась, — делилась она с подругами. — Он первый, с кем я целовалась... И мне так горько, что своими приходами он напрочь испортил все приятные воспоминания. Теперь вспоминается противное. Что руки у него были всегда влажные, что, когда мы целовались, получался свист.

Людмила Сергеевна даже маму свою видеть в эти дни не хотела, потому что та Костю — так звали отца Романа — обожала. Юлиного отца — летчика — она не восприняла, дядю Володю тоже, а Костя — это был ее идеал. Он соответствовал ее

каким-то глубоко запрятанным, но живучим представлениям о пресловутой немецкой добропорядочности. Это было совсем смешно, если учесть, что родом Костя из курской деревни. Ничего себе ариец.

А потом раскинутая во все стороны Москва их разъединила. И уже много лет не возникал на пороге тоскующий и преданный Костя со своим занудливым: «Ты только скажи...»

Когда Юлькины родители получили трехкомнатную квартиру в белой башне на зеленой траве, перво-наперво надо было отдать в химчистку шторы, пледы, покрывала, не вносить же в новенькую, с иголки, квартиру старую пыль. Людмила Сергеевна наvertsела два тюка и, взяв Юльку в помощницы, отправилась в химчистку. Только они вышли на бетонную дорожку, положив тюки на голову — так женщина выглядит красивее, — как раздался совершенно истошный вопль: «Лю-у-ся! Люсенька!» — и некий мужчина в три прыжка преодолел разделяющий две бетонные дорожки газон. Юлька с тюком на голове продолжала идти гордо и прямо, но боковым зрением она отметила, что на другой дорожке остались стоять очень толстая тетенька, килограммов на сто, и высокий мальчик. Она не знала, что там было за ее спиной, не видела, как рвал с маминой головы тюк этот мужчина, как мама

не давала ему это делать... Мама догнала Юльку через пять минут, лицо у нее было красное и злое, и она сказала: «Лучше на край света, чем жить с ним рядом».

Она даже съездила на Банный посмотреть, какие могут быть варианты. И первый раз за всю их жизнь они с Володей из-за этого здорово поскандалили. Юлька даже испугалась, тем более что причину выяснить так и не смогла, но одну фразу дяди Володи запомнила: «Этот дохляк будет у меня лететь с шестнадцатого этажа красиво, как бабочка...» Юлька спросила: «Какой дохляк?» И мама исчерпывающе ответила: «Отстань хоть ты!»

* * *

Поскольку в этой истории две стороны, то важно знать, как на эту встречу прореагировала вторая — вот та самая стокилограммовая тетенька, что осталась брошенной на дорожке.

Вера Георгиевна — мама Романа и жена Кости — ночь не спала. Все видела перед собой ошеломившую ее картину: Костик, две недели до того пролежавший с радикулитом, в три метровых шага перемахивает через газон, а на асфальте, сцепив зубы от презрения, стоит Людмила. Вот это презрение не давало покоя и сна. Чего уж она так? У нее, у Веры, тоже был в школе поклонник.